

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Господа ташкентцы
Картины нравов

1869 г.

ТАШКЕНТЦЫ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО КЛАССА

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ

Просим читателя последовать за нами в одно из закрытых заведений конца тридцатых годов, в которых воспитывались дети дворян преимущественно небогатого состояния. Там воспитывается "палач", герой настоящего рассказа.

"Палач" уж шестой год выживает в "заведении"; четыре года провел он в первом классе, и теперь доживает второй год во втором. Настоящая его фамилия Хмылов, но товарищи называют его "палачом", и эта кличка, по-видимому, утвердилась за ним навсегда.

Хмылов принадлежит к числу тех легендарных юношей, о которых в школах складываются рассказы самого чудесного свойства. Так, например, рассказывали, будто бы он, узнав однажды, что начальство решилось исключить его за леность из заведения, подавал в губернское правление просьбу об определении его в палачи, "куда угодно, по усмотрению высшего начальства". Еще говорили, будто на душе его лежит сто одно убийство и что мать его - та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впоследствии сделалась героиней романа того же имени. Один ученик даже уверял, что видел у "палача" разрыв-траву и какую-то "мертвую воду", с помощью которой он будто бы мог весь класс сначала повергнуть в сон, а потом всех дочиستا обобратить. И как ни фантастичны были эти рассказы, но "палач" отчасти оправдывал их своим хищным видом и какою-то таинственной отчужденностью, с которою он держался в кругу товарищей и которая, быть может, зависела не столько от него самого, сколько от случайно сложившихся, при поступлении его в заведение, обстоятельств.

"Палачу" было невступно осьмнадцать лет; роста он был не громадного, но внушительного, сухощав, но сложен крепко и мускулист; брил бороду и обладал необычайною физическою силою.

Среди прочей мелюзги-товарищей он казался Голиафом. В минуты доброго расположения духа он сажал на каждую руку по ученику, а третьего ученика помещал у себя верхом на плечах, и с такою ношей делал два-три конца бегом по огромной рекреационной зале. Но подобные добрые минуты были редкими проблесками в его школьной жизни; вообще же "палач" был угрюм и наводил своей силой панический страх на товарищей. Особенность наружного вида породила взаимную отчужденность; отчужденность, в свою очередь, привела к озлоблению, с одной стороны, и к непрерывным приставам -- с другой. "Палач" *любил бить*, и притом бил почти всегда без причины, то есть подстерегал первого попавшегося мальчугана и с наслаждением тузил его, допуская при этом пытку и калеченье.

Но в то же время он был трус, и в особенности боялся начальства, о котором, по-видимому, с детства составил себе понятие как о чем-то неотразимом. Товарищи знали это и, ненавидя "палача", устраивали, от времени до времени, на него облавы и травли, с таким расчетом, чтобы в решительную минуту можно было прибегнуть к защите начальства. В коридоре, в рекреационной зале, в саду, всегда невдалеке от дремлющего надзирателя, мелюзга собиралась толпой, и с криком: "палач! палач!" приближалась к нему. Заслышав этот крик, "палач" вздрагивал и бежал вперед, сложив руки крестом на груди, выгнув шею и стараясь увлечь толпу подальше. Но навстречу ему бежала другая толпа такой же мелюзги и с тем же криком: "палач! палач!" Тогда он останавливался, с проворством кошки оборачивался назад и выхватывал из толпы первого попавшегося под руку мальчугана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями, "палач" вывертывал своему пациенту руку и, шипя, произносил:

-- Забью!

И бог знает чем могли бы оканчиваться эти пароксизмы бешенства, если б обезумевшего от ужаса мальчугана не выручал надзиратель.

-- A genoux, Khmiloff! a genoux, tete remplie d'immondices! {На колени, Хмылов! на колени, голова, полная гадостей!} -- гремел

голос надзирателя, и "палач" с какой-то горькой усмешкой отрывался от своей жертвы и угрюмо, но беспрекословно, становился на колени.

Невежественность "палача" была изумительная; леность -- выше всего, что можно представить себе в этом роде. И ко всему этому какое-то неизреченное презрение к чему бы то ни было, что упоминало об ученье, о книге. Вообразить себе этого атлета-юношу, с его запасом решимости и свирепости, встречающегося где-нибудь в глухом переулке один на один с "наукою", значило заранее определить участь последней. Наверное, он обратит в пепел бумажные фабрики, взорвет на воздух университеты и гимназии и подвергнет человеческую мысль расстрелянию. Он сам удивлялся, каким образом он мог научиться грамоте. "Сама пришла", -- говорил он, тщетно пытаясь разрешить этот вопрос сколько-нибудь удовлетворительным образом. И действительно, правильнее этого решения нельзя было придумать. Никто не видал, чтобы он что-нибудь учил или читал, и вся деятельность его в смысле образования ума и сердца ограничивалась перепискою переводов и сочинений на заданную тему, с черняков, которые обыкновенно писались для него другими. Узнавши, что учитель словесности задал, например, переложение в прозу басни "Дуб и Трость", он, незадолго до класса, подходил к кому-нибудь из товарищей, клал перед ним чистый лист бумаги, на котором, в виде заголовка, собственной его рукой было написано: "Дуб и Трость, переложение в прозе, которое "такой-то" обязан составить для Максима Хмылова", и спокойно при этом произносил:

-- Через полчаса!

И через полчаса его действительно уже видели сидящим на задней скамейке и переписывающим готовое переложение. Вся фигура его как-то неестественно при этом натуживалась и скашивалась в одну сторону; язык высывался из угла рта, и крупные капли пота выступали на лбу.

Родись этот юноша несколько позже, то есть в то время, когда вред, от наук происходящий, был приведен российскими романистами и публицистами в достаточную ясность, ему не было бы цены. Но, к

несчастью для него, он начал учебное поприще в то наивное время, когда "наука" (быть может, по новости ее) казалась еще чем-то ценным, когда никто не понимал ясно, что значит это слово, но всякий был убежден, что "науки юношей питают" и что человеку, не знающему арифметики, грозит в жизни какая-то беда. Поэтому, не менее товарищей, не любили "палача" и учителя и надзиратели. У каждого из них Хмылов имел свое прозвище. Француз-учитель называл его "animal" и "tete remplie de foin"; {скотиной и головой, набитой сеном.} учитель-немец обращался к нему не иначе, как "o du, ungeschickter, unnutzer Khmiloff"; { латинский учитель именовал его "canis rabiosus" {неловкий, бесполезный Хмылов.} и "pecus campī" {бешеная собака.}. С каким-то злорадством заставляли они его позировать, на потеху целому классу. Входит, например, на кафедру monsieur Menuet, маленький поджарый французик, скорее похожий на извозчика, нежели на учителя, и первым долгом считает немедленно заполучить Хмылова.

-- Eh bien, animal de Khmiloff! lisons! Paragraphe 44. Imparfait de l'indicatif! {Итак, скотина Хмылов! Читаем! Параграф 44. Прошедшее время изъявительного наклонения!}

Хмылов читает:

"Лорске жете петит, ме метр ете контант де моа" {Когда я был маленьким, учителя были довольны мною.}.

-- Etre content de toi, cretin! de toi, qui es le bourreau de tes maitres! Animal, va! {Быть довольным тобою, кретин! тобой, палачом твоих учителей! скотина!}

-- Господин Менует! не извольте ругаться!

-- Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbecile, continuons: Paragraphe 49. Imparfait et passe defini! {Ах! ты еще рассуждаешь! Ну, архиглупец, продолжаем: параграф 49. Времена прошедшее несовершенное и прошедшее!}

Хмылов читает:

"Пьер легранд дежене а сенк ер дю матен, иль дине а миди е не супе па"... Е иль буве {Петр Великий завтракал в пять часов утра,

обедал в полдень и не ужинал... И выпивал.}, -- вставляет он неожиданно.

-- Ou as-tu lu cela! reponds, triple animal! ou as-tu lu, que Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait? {Где ты прочитал это?! отвечай, трижды скотина! где ты прочитал, что Петр Великий, этот монарх из монархов, выпивал?}

-- Се листоар {В истории.}, господин Менует.

-- "Се листоар"? -- передразнивает monsieur Menuet, -- et si par extraordinaire l'on te donnait la verge aujourd'hui, au lieu de samedi, ca serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien, voyons! cite-moi les exemples du paragraphe 52! "Que prenez vous le matin?" {В истории... А если бы в виде исключения тебе всыпали розог сегодня, вместо субботы, это была бы вторая история, идиот! Ладно, посмотрим! приведи мне примеры из параграфа 52! "Что едите вы утром?"}

"Палач" оживляется; он почти не смотрит в книгу и довольно правильно рапортует:

"Же пран юн тасс де те у де кафе авек дю пен блян; ле суар же манж юн транш де во у де беф у де мутон"... {Я выпиваю чашку чаю или кофея с белым хлебом, вечером съедаю кусок телятины, или говядины, или баранины...}

-- Comme il y va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais acheve donc, acheve, imbecile infect et venimeux! Dis: "je vous remercie, madame, j'ai tant mange que je n'ai plus faim!" {Как он тут разошелся! Он прекрасно понимает, когда дело идет о еде, скотина! Но кончай же, кончай, заразный, ядовитый дурак! Скажи: "благодарю вас, мадам, я столько съел, что больше не хочу!"}

-- Же фен {Я голоден.}.

-- Ah, tu as faim, vieux tonneau fele, impossible a emplir! tu as faim, hippopotame plein d'age! Va donc te mettre a genoux, execrable ganache. Nous verrons, si de cette maniere-la tu parviendras a te rassasier! {Ах, ты голоден, старая лопнувшая бочка, которую невозможно наполнить! Ты голоден, древний гишпопотам! иди, стань на колени, мерзкий тупица! Посмотрим, не насытишься ли ты таким способом!}

"Палач", не торопясь, встает с места, проходит мимо скамей при общем смехе товарищей и становится на колени, ворча сквозь зубы:

-- Вы всегда меня, господин Менует, притесняете!

Даже законоучитель-батюшка и тот считал своим долгом слегка поковырять в Хмылове, или, как он выражался, "измерить глубины сего океана празднлюбия". А потому, обладая особливим даром прозорливства, он всегда огорошивал "палача" следующим вопросом:

-- А нуте, кто из вас здесь дубиной прозывается? Вставай, дуб младый, сказывай, что есть ад?

Хмылов вставал и без запинки отчеканивал:

-- Карцер есть слово греческое, и означает место темное, преисполненное клопами, у дверей коего дремлет сторож Мазилка!

-- Так, младый дуб, так. Спасибо, хоть сам себе резолюцию прочитал...

Иди ж, душа, во ад и буди вечно пленна...

сиречь, изволь идти в карцер...

И "палач", нимало не прекословя, складывал тетрадки, дабы благополучно проследовать в карцер.

Только однажды, когда учитель-немец, по обыкновению, обратился к нему:

-- Also doch, unnutzer palatsch Khmiloff... {Ну-с, бесполезный палач Хмылов...}

"Палач" вдруг пустил ему в упор:

-- Колбаса!

Но и тут сейчас же струсил и безусловно сдался в плен надзирателю, заточившему его на неделю в карцер.

Даже дядьки -- и те терпеть не могли "палача", так что, когда он, после обеда или ужина, приходил в буфетную, чтобы поживиться остатками от общей трапезы, то они всегда гнали его от себя, говоря: "Видно, мало награл у учеников? к дядькам грабить пришел!"

Родом "палач" был из Орловской губернии, и не без гордости говаривал: "Мы, орловцы, -- проломленные головы", или: "Орел да Кромь -- первые воры!" Отец его считался в числе лиц, "почтенных доверием господ дворян", то есть служил исправником и, вследствие непреборимой горячности своего нрава, почти никогда не выходил из-под суда. Но даже и для этого закаленного в суровой школе уголовной палаты человека Максимка представлял что-то феноменальное. Поэтому, когда он привез "палача" в заведение, то следующим образом отрекомендовал его инспектору классов:

-- Откровенно вам доложу, Василий Ипатыч, это такой негодяй... такой негодяй... ну, знаете, такой негодяй, каких днем с огнем поискать! Бился я с ним, хотел отдать в пудретное заведение, да по дворянству стыдно! Дворянин-с. А потому, ежели желаете оказать ему благодеяние, -- дерите! Спорить и прекословить не буду. Мало одной шкуры, спустите две. А в удостоверение, представлю при сем в презент сто рублей.

-- Я учиться не стану! воля ваша! -- угрюмо проговорил "палач", стоявший тут же в сторонке и вслушавшийся в рекомендацию отца.

-- Слышали-с? Изволили слышать, какое это золото! Дерите-с! сделайте милость, дерите-с! -- убеждал отец инспектора, и затем, обращаясь к сыну, присовокупил: -- А тебе, балбес, повторяю: если ты сто лет в первом классе просидишь -- я и тогда не возьму тебя из заведения! Сто лет буду за тебя деньги платить, а домой -- ни-ни! Так тут и околевой!

Хмылов был принят и, быть может, благодаря сторублевой рекомендации и ежегодным присылкам живностью и домашними припасами, не был изгоняем из заведения (в то время еще не существовало правила, в силу которого больше двух лет в одном и том же классе оставаться нельзя). Но с тех пор, как "палач" поступил в заведение, никто из родных никогда не посетил его, так что он казался совсем забытым. Денег ему тоже никогда не присылали, а

так как казенная пища была совершенно недостаточна для питания его мощного организма, то он всегда был голоден.

Чтобы наполнить желудок, он прибегал или к обложению товарищей произвольными данями, или к грабежу. Система даней заключалась в том, что он заказывал трем-четырем ученикам (обыкновенно выбирая самых робких): кому полбулки, кому бутерброд с мясом.

-- Слышал я, -- говорил он, -- что бутерброды делаются таким образом: взяв два куска хлеба, положить их один на другой, а посередине поместить кусок жареной говядины...

Или:

-- Другие за булку дают два листа бумаги, а я беру только полбулки, и не даю ничего...

И был уверен, что у него будет столько полбулок и бутербродов, сколько он пожелает.

Система грабежа заключалась в том, что в приемные дни, когда воспитанников посещали родные, "палач" становился у дверей приемной комнаты и с волнением прислушивался и приглядывался в замочную скважину. По форме передаваемых пакетов он угадывал об их содержании и затем, как хищный зверь в клетке, начинал беспокойно метаться по коридору, ведущему из приемной в класс. Ученики знали этот обычай и без прекословия вынимали кто пирог, кто яблоко, кто горсть орехов и отдавали "палачу". В эти минуты он был почти ласков. Он обирал дани в громадный бумажный тюрик, и по окончании грабежа отправлялся в класс на заднюю скамейку, где он имел постоянное пребывание и которая поэтому называлась "палачевской". Там он раскладывал награбленное добро, рассортировывал его, и затем начинал истреблять.

-- Господа! "Палач" жрет! -- раздавалось по классу.

Это был самый ненавистный для него крик, потому что, вслед за тем, мальчишки, как бесенята, вскарабкивались на скамейки, подбегали к "палачевской", бросали в "палача" песком и книгами и вообще старались всячески портить "палачов корм". "Палач" огрызался и рычал, но не решался оставить место, потому что по

опыту знал, что если он хоть на минуту погонится за кем-нибудь из своих мучителей, то корм его будет мгновенно расхищен. Поэтому он старался как можно скорее уничтожить награбленное и, когда процесс истребления приходил к концу, отяжелевал. В таких случаях он боком садился на лавке и посоловелыми глазами смотрел в упор на рассеявшуюся мелюзгу, улыбаясь, барабаня пальцами по конторке и как бы говоря: а ну те, не угодно ли будет пристать ко мне теперь!

По субботам "палача" секли. В заведении, где он воспитывался, существовало насчет этого очень своеобразное обыкновение. Каждую субботу, после всенощной, учеников строили в два ряда по бокам рекреационной залы, и затем, по воцарении гробовой тишины, инспектор классов громким и ясным голосом вызывал на середину тех, которые получили, в течение недели, известное число нулей.

-- Господин Хмылов! -- обыкновенно начинал инспектор.

Хмылов выходил и исподлобья высматривал, какой урядник будет сечь, Кочурин или Купцов, так как Кочурин сек больно, а Купцов -- нестерпимо. Сообразно с этим он возвышал или понижал температуру своего духа и затем, молча перекрестясь, ложился на скамейку.

-- Шестьдесят! -- командовал инспектор.

-- Василий Ипатыч, не приказывайте держать! -- уже лежа, обращался к нему Хмылов.

-- Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!

-- Ж-ж-ж-и-и! -- раздавалось в воздухе.

Хмылов лежал вольно и не испускал ни единого стога. Иногда он закусывал губу и с ожесточением царапал себе грудь, чтобы нейтрализовать одну боль посредством другой. Когда отсчитывали последний, шестидесятый удар, он проворно соскакивал со скамейки и как ни в чем не бывало принимался натаскивать на себя нижнее платье.

Между учениками ходила легенда, будто "Танька, ростокинская разбойница", еще в детстве выкупала "палача" в каком-то болоте, в мертвой воде, и с тех пор палачово тело сделалось твердо, как чугун.

Но в одну из суббот совершилось нечто совсем непредвиденное. Инспектор классов, сделав обычный парад, вдруг, сверх всякого чаяния, объявил:

-- В течение целой недели господин Хмылов получил только один ноль, и потому сечен сегодня не будет. Во внимание к столь очевидному знаку милосердия божия, всем лентяям, с разрешения господина директора, объявляется на сей раз прощение! Господа! будьте признательны господину Хмылову.

"Палач" вдруг сделался героем дня. Его окружили и поздравляли со всех сторон, но он казался скорее сконфуженным, нежели обрадованным. Удивленно озирался он по сторонам и очевидно недоумевал, серьезно ли его поздравляют или нет. И сомнения его были далеко не безосновательны, потому что поздравления с каждой минутой делались шумнее и шумнее" и наконец превратились в явное приставанье.

-- Палач! палач! -- раздавалось со всех сторон.

И через минуту Хмылов, с налитыми кровью глазами, уже бежал без памяти по коридору, преследуемый криками беспощадной мелюзги.

У "палача" был только один друг -- "Агашка".

Судя по кличке, можно бы предположить в этом юноше что-нибудь женственное, но в действительности было совершенно противное. "Агашка" был рослый детина, столь же сильный, как и "палач", и в то же время безусловно безобразный. Круглое, плоское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широким ртом и мясистым носом, с раздувающимися ноздрями и почти без переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вызывало потребность окрестить обладателя этих сокровищ каким-нибудь прозвищем. И вот, когда он в первый раз вошел новичком в класс, один, из учеников, взглянув на него, крикнул: "Господа!

Агашка пришла!" И, должно быть, прозвище попало метко, потому что с тех пор новичок так и пошел гулять с ним по заведению.

Настоящая фамилия "Агашки" была Голопятов, а родом он был из мелкопоместных дворян той же Орловской губернии, откуда происходил и "палач". Это было первым поводом для сближения между ними.

Однажды, по окончании классов, встретившись с Голопятовым в коридоре, "палач" первый подошел к нему.

-- Вы откуда? -- спросил он его.

-- Орловской губернии Мценского уезда.

-- Значит, Амченина к нам на двор... так?

-- Пожалуй.

-- Ну, а я Кромской. Орел да Кромы -- первые воры. Будем знакомы.

Вторым поводом к дружбе была физическая сила, которую несомненно обладал "Агашка". До поступления его, "палач" чувствовал себя одиноким; теперь он получил возможность тягаться, бороться и вообще производить всяческие эксперименты силы. Как только звонок возвещал рекреацию, оба спешили в зал и вступали в единоборство. "Агашка" был прост и потому бился чисто, так сказать, первобытно; "палач" был лукав и потому увертывался, извивался, пользовался слабыми сторонами противника и прибегал к подножкам. Поэтому первый был почти всегда побеждаем, но второй все-таки понимал, что, не ровен случай, и "Агашка" может искалечить его. Уставши бороться, они ходили взад и вперед по коридору, разговаривая о силе, приводя примеры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу силы.

-- У меня дядя телегу за колесо на всем скаку останавливает! -- хвастался "Агашка".

-- А у меня был прадедущка, так тот однажды у черкасского быка рог изо лба вывернул! -- отзывался "палач". -- Да он и фальшивую монету делал! -- прибавлял он совсем неожиданно.

Когда и этот разговор истощался, они молча сравнивали свои кулаки: и тот и другой выставит кулак, и меряются.

-- Только у меня, брат, костистее, -- молвит "палач", -- мой кулак настоящий... сухой!

-- Ну, брат, и моим можно душу из оглоблей вышибить! -- возразит "Агашка".

И опять начнут молча ходить, покуда опять придет охота мерить кулаки.

Иногда разговор разнообразился.

-- Ты как полагаешь, Хмылов? -- спросит "Агашка", -- кто шибче дерет, Кочурин или Купцов?

-- Кочурин шибче, Купцов больней. У Кочурина рука вольная, и сердце играет; у Купцова рука словно как не своя, да и дерет он словно как не сам. Кочурин до тридцати ударов рубцы только кладет, а Купцов с первого удара кожу просекает. Купцова я боюсь.

-- Да, это так; Купцов -- это, я тебе скажу...

-- Нет, прошлого года, как-то раз оба урядника больны или в отлучке были, так меня, вместо них, ламповщик драл... вот, я тебе скажу, драл!

-- Больно?

-- Шкуру спустил! Довольно тебе сказать, что даже я обезумел! Как только это шестьдесят сосчитали, так я, сам уж не помню как, при всех и при инспекторе, сейчас ему в зубы!

Молчание.

-- Гм... Нет, вот на площади, должно быть, дерут! -- задумчиво молвит "Агашка".

Опять молчание.

-- Слыхал я, что средство есть, -- опять молвит "Агашка".

-- Это маслом натираться? Пробовал я.

-- Лучше?

-- Оно, конечно... как не лучше! Скользит! Да только инспектор-шельма сейчас же рассмотрел -- так и сыграл я вничью. Нет, да это что! хорошо бы вот в юнкера поступить!

-- Да, дранья-то бы не было!

-- В юнкерах-то? Что ты! опомнись! да там так дерут... так дерут! А уж как бы начальство осталось довольным! То есть, скажи только: жги! рви!.. ну, то есть, так бы...

По временам друзья подходили к уряднику Кочурину, который через день дежурил в коридоре.

-- А что, Кочурин, твоя, что ли, очередь драть в следующую субботу? -- интересовался "палач".

-- Моя.

-- То-то; ты, брат, не очень!

-- Распишу -- ничего!

-- Нет, брат, я тебе говорю, ты не очень! потому, брат, я и сам... я, брат, и в зубы...

По воскресеньям друзья чувствовали какую-то особливую, бешеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не выходили из стен заведения. Наборовшись досыта, пересказавши друг другу всевозможные анекдоты о силе, они начинали придумывать, как бы уразнообразить день.

-- Косушку надо, -- решал "палач".

-- Можно бы и полштоф, только деньги как? Слимонить нынче трудно: начали, подлецы, запирать.

-- Вот я намеднись грамматику Цумпта нашел, -- разве ее в мытье снести?

-- Ладно. Валяй, Хмылов, к Кольчугину! А коли еще Евтропия на придачу захватишь -- два двугривенных... это как свят бог!

"Палач" перелезает через ограду сада и, в одной куртке, без шапки, бежит вон из заведения. Через час друзья уже приютились где-нибудь в темном углу, распивают сивуху и заедают ее колбасой.

-- Ты больше ешь, Голопятов, -- уговаривает "палач", -- потому ежели теперича пить да не есть -- беда!

-- Да, это так, при вине без еды нельзя! -- отвечает "Агашка". -- У меня тоже дядя был, так тот ничего не ел, только разве маленький кусочек хлеба с солью, а все пил, все пил; так поверишь ли, под конец он словно ртутью налитой сделался! Руки дрожат, голова мотается... страсть!

Через два часа оба спят как убитые, растянувшись на лавке.

Однажды в год, перед каникулами, за "палачом" приезжал рассыльный из земского суда, в кибитке, запряженной парой тощих обывательских лошадей. Ученики чутьем угадывали этот приезд, и через минуту рассыльного уже со всех сторон обступала мелюзга.

-- За "палачом" приехал?

-- Танька, ростокинская разбойница, жива?

-- В каком лесу вы нынче на промысел выходите? Рассыльный тарасил глаза, не понимая сыплющихся на него вопросов.

-- За кем ты приехал? -- переспрашивал его кто-нибудь вновь.

-- За барчонком, за Максимом Петровичем.

-- Ну, он самый -- "палач" и есть. А отец у него тоже палач? И мать палачиха?

Такого рода сцены повергали Хмылова в неописанное волнение. Он за несколько недель начинал готовиться к ним и старался устроить как-нибудь так, чтобы выскользнуть из заведения незамеченным. Но это никогда ему не удавалось благодаря неповоротливости рассыльного и прозорливости учеников. Сконфуженный, выходил он в швейцарскую и, бросая направо и налево тревожные взоры, спешил как можно скорее юркнуть на улицу.

-- Палач! -- кричали ему вслед.

Кибитка, покачиваясь и подсакивая по мостовой, труся удаляется от стен заведения и, наконец, совсем выезжает из Москвы. Очутившись за городом, Хмылов поспешно снимает с себя куртку, с

наслаждением вдыхает зараженный воздух заставы, и жадно вглядывается в бесконечно вьющуюся впереди ленту большой дороги.

-- Ишь ты, дорога-то! -- говорит он.

-- Да... большая! -- отзывается с облучка рассыльный, -- а позволь, Максим Петрович, узнать, за что они тебя палачом обзывают?

-- Так... подлецы... не знают сами... жрать хочу... денег нет... грабить должен! -- бессвязно бормочет "палач", и в голосе его слышится несвойственное ему дрожание.

"Палач" отворачивается и глядит в сторону. В эту минуту его ненавистное прозвище жжет его.

-- Какой я палач, Сергеич! -- наконец произносит он, -- я волк -- вот что!

-- Уж будто и волк?

-- Да, волк. Голоден... всегда... вот как волк... ну, и травят!

Сергеич задумчиво покачивает головой.

-- А ты бы, сударь, не все грабежом, -- говорит он, -- а иногда и лаской. Вот папеньку-то за грабеж ноне под суд отдали!

-- Врешь?

-- Всех отдали под суд: и папеньку, и дяденьку Софрона Матвейча. Софрон-то Матвейч, сказывают, таких делов наделал, что и каторги-то ему, слышь, мало.

-- Вре-ешь?

Лицо Хмылова оживляется и светлеет. Выражение этого лица как будто говорит: ай-да молодцы... Хмыловские!

-- Верно говорю, -- продолжает Сергеич. -- Теперича из губернии целый кагал приехал Софрона-то Матвейча судить. Так он перед ними, перед чиновниками-то, словно вьюн на сковороде, -- так и пляшет!

-- Врешь! не станет дядя подличать! На каторгу, так на каторгу -- разве на каторге не те же люди живут? Вот я хоть сейчас... что же!

"Палач" задумывается; в воображении его рисуется "Нижегородка", этапная тюрьма, конвой, угрюмые лица арестантов, и среди их он, звенящий кандалами и наручниками...

-- Ну что, а Маришка как? -- спрашивает он, выходя из задумчивости.

-- Маришку бросить надо -- вот что. Она нынче и легла и встала -- все с Федькой-поваром!

-- Ишь подлая!.. А Микешка-фалетур?

-- Микешке барин намеднись сказал, что только ему и озоровать что до первого набора!

-- Вре-ешь?

Через шесть часов обывательские лошаденки кой-как дотаскивают путешественников до Подольска, где назначен первый растаг. Сергеич суетится около кибитки, вытаскивая из-под сена кулек с залежавшеюся домашней провизией. "Палач" усматривает между тем висящий на гвоздике у облучка Сергеичев кисет с махоркой и потихоньку высыпает из него трубки на две табаку.

-- Что ж ты не спросишь, здоровы ли папенька с маменькой? -- укоризненно говорит ему Сергеич на постоялом дворе, где Хмылов успел уж расположиться под образами и с жадностью оплетает жареную курицу.

-- А ну их! денег не дают!

Через четверть часа он стоит под навесом постоялого двора и целится камнем в курицу, копающуюся в навозе.

Курица испускает неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая крыльями, убегает.

В прежние времена небогатые помещики, при выборе усадебной оседлости, руководствовались следующими соображениями: во-первых, чтобы церковь стояла перед глазами, а во-вторых, чтобы мужик всегда под руками был. Отгородит помещик попросторнее местечко в ряду с крестьянскими избами (большой частью в

низинке, чтоб зимой теплее было) и складет там дом не дом, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заносит снегом, а летом чуть-чуть виднеется из-за тына. Потом, спереди разведет палисадник, в котором не то что гулять, а повернуться негде, а сзади и по бокам настроит людских, да застольных, да амбарушек, да клетушек -- и пойдет этот нескладный сброд строений чернеть и ветшать под влиянием времени и непогод, да наполняться грязью, навозом и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали перед глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налево ряд покосившихся крестьянских изб, разделяемых улицей, на которой от навоза и грязи проезда нет. Зато барин знает, что в какой избе делается, что говорится, какой мужик действительно по болезни не выходит на барщину, какой только отлынивает; у кого отелилась корова, что принесла и т. д.

Такого именно сорта была усадьба Петра Матвеича Хмылова, стоявшая на самой середине небольшого села Вавилова. Тут все было пригнано к общему типу помещичьих усадеб средней руки: и почерневший одноэтажный дом с подслеповатыми окнами и ветхою крышей, и классический палисадник, и великое множество клетушек, в которых десятками лет скоплялся и сберегался никому не нужный хлам. Внутри дома дрожащие половицы, стены, оклеенные побеленной газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидеть, и великое изобилие бутылей с настойками и наливками, расставленных по окнам. Вне дома -- отсутствие воды, тени, всего, на чем мог бы отдохнуть глаз. Куда ни взглянешь -- везде навоз и грязь. Даже пруд, выкопанный в стороне на площади, -- и тот покрыт плесенью и пухом домашней птицы, а по берегам до безобразия изрыт и загажен.

В усадьбе Петра Матвеича живут три поколения. Он сам с женою Ариной Тимофеевной, два сына-подростка (независимо от "палача", с которым мы уже познакомились) и старый дедушка Матвей Никаньрыч. Братец Софрон Матвеич владеет собственной усадьбой, стоящей на той же площади, в нескольких десятках саженей от главной усадьбы.

Дедушке за восемьдесят лет; он совсем выжил из ума и помнит одно слово: рви! Лет двадцать назад (в конце двадцатых годов) он

сотворил какую-то совершенно неслыханную штуку, за которую быть бы ему на каторге, если б добрые люди не надоумили его сказаться умершим. Вздумано -- сделано; добыли форменное свидетельство, что такого-то числа и года боярин Матвей Никаноров Хмылов волею божией помре, представили документ в уголовную палату -- и живет с тех пор старик, в виде контрабанды, на усадьбе у старшего сына Петра Матвеича.

Дедушка, несмотря на преклонные лета, старик бодрый и блажной. Взамен потухшего ума в нем развилась назойливая проказливость, которая никому не дает покоя. С утра до вечера он неумоимо шнырит из комнаты в комнату, тут отдерет от стены кусок обоев, там -- обмажет мебель грязью или жеваным хлебом. И все время неумолкаемо бормочет и свистит. "Согрешили мы!" -- говорит, глядя на него, Арина Тимофеевна, и с какою-то безнадежностью ждет, что вот-вот он или дом подожжет, или битого стекла в наливку насыплет, или девке Маришке глаза песком засорит. Но домашние не решаются поступать с ним круто, потому что подозревают, что у него есть значительный куш, который он припрятал в то время, когда решил сказать умершим. Куда он спрятал свое имущество -- этого, несмотря на все старания, никто доискаться не может, но загадочность некоторых поступков полупомешанного старика дает полный повод предполагать, что действительно старик что-то скрывает. По временам он исчезает куда-то, словно сквозь землю проваливается, и всегда нежданно, сюрпризом. Едва успеют хватиться старика, а он уж опять тут как тут, откуда-то возвращается и знай себе бормочет да посвистывает. Все это, разумеется, интриговало и даже мучило домашних, и Петр Матвеич, который даже в пьяном виде не переставал быть почтительным сыном, не раз приступал к отцу с объяснениями по этому предмету.

-- Откройтесь! -- говорил он, -- откройтесь, добрый друг папенька! снимите с души вашей тяжкий грех!

Но старик бессмысленно смотрел на него и бормотал:

-- Рви... сам... сам... сам рви!

Пробовал заводить речь об этой материи и Софрон Матвейч: этот старался подействовать на воображение старика не столько почтительностью, сколько угрозой.

-- Папенька! -- говорил он, -- ведь ежели теперича допросить вас как следует -- ведь вы скажете-с! как свят бог скажете-с!

Но на это увещание старик даже не произносил своего любимого слова "рви", а только слегка вздрагивал и изменялся в лице. Быть может, он смутно догадывался, что Софрон Матвейч принадлежит к числу тех людей, которые, раз решив в уме своем предприятие, ни над чем не задумаются, чтоб достигнуть его осуществления.

Наконец, прибегали и к третьему способу: заставляли детей следить за стариком. И действительно, младшему сыну, Ване, чуть-чуть не удалось напасть на след. Однажды он подсмотрел, как дедушка вышел из дома, как он перешел через двор, и потом, согнувшись и подобравши полы халата, стал куда-то прокрадываться позади скотных изб. Но покуда маленький шпион раздумывал, не лечь ли ему на брюхо, чтоб ловчее подползти к старику, последний точно чутьем догадался, что за ним следят. Он внезапно выпрямился во весь рост, как ни в чем не бывало повернул назад, и, поравнявшись с внуком, поднял его за плечи на воздух...

С тех пор дедушку оставили в покое и с каким-то тупым недоумением ожидали, что вот-вот или умрет старик, или переменят форму ассигнаций -- и тогда пиши пропало. Софрон Матвейч с особенной настойчивостью указывал брату на эти случайности.

-- Покаетесь, братец, да поздно будет! -- говорил он своим хнычущим, вкрадчивым голосом, звук которого был до такой степени мучителен, что Арина Тимофеевна, несмотря на двадцать пять лет жизни в семействе Хмыловых, не могла его слышать без того, чтоб в ней не упало сердце.

Петр Матвейч, вместо ответа, как-то алчно вздрагивал и дико вращал глазами.

-- Я сам родителя моего чту, -- продолжал между тем (Софрон Матвейч, -- и каждый день, утром и вечером, возношу сердце об их долголетию. Однако, и за всем тем, с своей стороны мнением полагал

бы, что ежели теперича, без ущерба для их здоровья, на время их в чулан запереть, или, например, в пище сокращение допустить...

Петр Матвейч, не дослушав до конца, вскакивал как ужаленный и с простертыми дланями устремлялся вперед, сам не зная куда.

-- Куда ты? куда? на убийство собрался? -- кричала ему вслед Арина Тимофеевна, -- ишь тебя "зуда"-то раззудил! И глаза, как у быка, кровью налились!

Но старик и сам предупреждал возможность "убийства". Почуяв, что об нем идет речь, он скрывался в чулан, или на сеновал, или в другое неприступное место, и оставался там до тех пор, пока наступившая в доме тишина не удостоверяла, что Софрон Матвейч ушел восвояси, а Петр Матвейч, окончательно ошалелый от водки, заснул где-нибудь богатырским сном.

Так шли дни за днями, и старик продолжал жить, оставаясь загадкой для целого семейства. Никто не мог сказать наверное, в уме ли он или не в разуме, а также при чем он состоит: при настоящем ли капитале, заключающемся в ассигнациях, или при кипе старой газетной бумаги, которую он, быть может, и сам принимал за кипу ассигнаций.

Петра Матвейча многие разумели злым человеком, но, говоря по правде, он был ни добр, ни зол, а только чрез меру лих. Рассудка он не имел, но, несмотря на свои с лишком пятьдесят лет, обладал замечательно горячим темпераментом, которым и руководствовался во всех своих действиях. Это была, так сказать, талантливая скотина, готовая бежать, лететь в огонь, в воду, в преисподнюю, бить, сокрушать, везде, всегда, во всякое время, на всяком месте. Только на небо влезть он не мог, да и то потому, что, читая каждый день "иже еси на небеси", полагал, что там живет какое-то особенное, уж совсем высшее начальство, контролировать которое ему, исправнику, не по чину. Местные помещики знали эту всегдашнюю готовность Хмылова и, говоря об нем, выражались так: у нас исправник лихой! он подтянет! И он действительно с такою любовью предавался подтягиванию, что даже постоянного местожительства нигде, кроме тарантаса, указать не мог. Подобно буйному вихрю, рыскал он день и ночь по углам и закоулкам уезда, издалека грозясь

нагайкою и собственноручно творя суд и расправу. Он налетал как орел из-за сизых туч и сек. Затем летел дальше, опять сек и опять летел дальше. Что такое сечение? Какое ощущение вызывает оно в истязуемом субъекте? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое сечение было, в его глазах, только обрядом, входящим в круг его обязанностей как исправника. Он знал, что в одних случаях нужно надеть мундир, в других -- сечь, и согласно с этим располагал своими поступками. "Запору!", "в гроб заколочу!", "в бараний рог согну!" -- таков был обычный способ его собеседования, и он произносил эти слова без сознательной злобы, хотя голос его гремел как труба, глаза таращились и у рта показывалась пена. Он не понимал, чтоб исправник мог говорить, не обрывая, не простирая рук и не сквернословя. В сквернословии видел он почти обязательную формальность, соблюдение которой влекло за собой для него названия: "молодец" и "лихой", несоблюдение -- названия: "мямля", "тряпка" и "баба".

-- Уж это, батюшка, должность такая, -- объяснял он, -- повесь-ка я на стену вот этот инструмент (он указывал на нагайку) -- голову на отсечение отдаю, что через два дня весь уезд вверх ногами пойдет!

И действительно, никогда, даже дома, не выпускал нагайки из рук.

Взятку он любил, но никогда не подбирался к ней, как тать в нощи, не сочинял предварительных проектов насчет ее обретения, не каверзничал, а брал с маху. И притом брал исключительно с имущих, а неимущих только сек. Сечение представляло, в его глазах, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамоне, делаемой нередко даже в ущерб прерогативе. Поэтому он и взятку старался облечь в форму грабежа. Нужно денег -- летит на гуртовщика, потом летит на лесопромышленника, потом на содержателя крупчаткой мельницы, и всегда берет без дела, без повода, здорово-живешь. Нет нужды в деньгах -- оставляет толстосумов в покое, а неимущих продолжает сечь. Иногда он выказывал даже замечательное бескорыстие и делал в назначенных к получению кушах значительные и ничем не мотивируемые сбавки. Но это допускалось лишь в тех случаях, когда пациенты льстили его самолюбию, то есть говорили ему в глаза, что он лихой, что он в одном своем кулаке

держит целый уезд, и что не будь его -- им пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.

-- А я, сударь, был намеднись в Латышове, -- говорит, например, промышленник, на которого наложена сторублевая дань, -- ну, и подивился-таки!

-- А что?

-- Шелковые стали, с тех пор как ручки-то вашей отведали!

-- То-то; вас не подтяни, вы все разбойниками будете!

-- Что говорить! по нашем брате палка плачет -- это верно!

-- Ну, черт с тобой, давай пятидесятную... живо! Благодаря этому обстоятельству у него никогда не было лишних денег, да и те, которые были, он любил пропить, прогулять и вообще рассорить более или менее непроизводительным образом.

-- Я, -- говорил он, -- не то, что другие; я с народа беру, да в народ же и пуцаю.

Водку он пил не запоем, но во всякое время и столь же много, как бы запоем. Поэтому, хотя он никогда не бывал окончательно и безобразно пьян, но постоянно находился в тумане и никогда отчетливо не понимал, куда тычет руками. Там, где он "раскидывал свой шатер", происходило одно из двух: либо сеченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что он проживает свои доходы как благородный человек, а толстосумы даже называли его душевным человеком.

-- У нас исправник -- душа человек! -- говорили они, -- он с тебя возьмет, да он же и за стол рядом с собою посадит!

Перед начальством Петр Матвеич трепетал. Но не просто трепетал, а любил трепетать, трепетал не только за страх, но и за совесть. Он страстно любил встречать, провожать, устремляться, застывать на месте, рапортовать, а потому всякий проезд начальства, хотя бы и не совсем того ведомства, к которому он принадлежал, был для него торжеством. Прознав о предстоящем "проследовании" через его уезд, он загодя приходил в волнение, скакал по дорогам, свидетельствовал ямских лошадей, заготавливал

квартиры, сеял направо и налево мужицкие зубы, и даже прекращал на время употребление водки, так что самое лицо делалось у него белое. Подстерегши начальство, под дождем и морозом, на границе уезда, он вытягивался в струну, замирал и рапортовал; потом кидался в телегу и как бешеный скакал вперед, оглашая воздух гиканьем.

-- Мы, батюшка, перед начальством -- все одно что борзые-с, -- говорил он, -- прикажут: разорви! -- и разорвем-с!

И точно, слушая, как он говорил это, видя, как он вращал при этом глазами и как лицо его становилось из красного фиолетовым и даже синеватым, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорвет.

Начальство знало это и хвалило Хмылова.

-- Хмылов, -- выражалось оно, -- это лихой! этот подтянет!

Даже крестьянские мальчишки и те, наслушавшись расточаемых со всех сторон Хмылову похвальных аттестаций, говорили:

-- Вот погоди! ужо проедет исправник -- он те подтянет!

Дома Петр Матвеич бывал только наездами, на сутки, на двое, не больше. Налетит, перевернет все и всех вверх дном -- и опять исчезнет недели на две. Он сам охотно признавался, что ничего не смыслит в деревенском хозяйстве, и ставил это себе не в порок, а в достоинство.

-- Какой я деревенский хозяин! -- выражался он, -- я хозяин уезда -- вот я кто!

Поэтому, как бразды хозяйственного управления, так и воспитание детей он вполне предоставил жене, требуя только, чтобы в случаях телесной расправы с детьми она не сама распоряжалась, а доводила о том до его сведения.

-- Вы, бабы, -- говорил он, -- не сечете, а только мажете. А их, разбойников, надо таким манером допросить, чтоб они всю жизнь памятовали.

И так как дети действительно росли разбойниками, то каждый налет Петра Матвеича в деревню неизменно сопровождался

эзекуцией. "В гроб ракалий заколочу!", "Запорю мерзавцев!" -- вот единственные проявления родственных отношений, которые были обычными в этой семье. Но опять-таки и здесь на первом плане стояла не сознательная жестокость, а обряд. Петр Матвеич помнил, что он и сам рос разбойником, что его самого и запарывали, и в гроб заколачивали, и что все это, однако ж, не помешало ему сделаться "молодцом". А следовательно, и детям те же пути не заказаны. Растут, растут разбойниками, а потом, глядишь, и сделаются вдруг "молодцами".

К отцу Петр Матвеич относился довольно равнодушно. Хотя предположение о таинственном капитале и волновало его, но волновало лишь потому, что этим капиталом все домашние мозолили ему глаза. Но старик был к нему почти ласков и, по-видимому, даже искал у него защиты против ехидства Софрона Матвеича. В присутствии старшего сына дедушка прекращал свои проказы, переставал бормотать, свистать и наполнять дом гамом. По временам он даже останавливался перед Петром Матвеичем и с какою-то непривычною ему задушевностью в голосе произносил:

-- Рви!

-- Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю! -- Нажал на это Петр Матвеич.

Но старик оставался непреклонен и повторял:

-- Рви! рви! рви!

Петр Матвеич на минуту задумывался, потом внезапно приказывал запрягать тарантас и летел навстречу гурту. В эти дни исправник был неумолим и грабил все, что положено, не поддаваясь ни резонам, ни лести, не Арина Тимофеевна была женщина смирная, но отличалась тем, что даже в домашнем обиходе никогда не могла с точностью определить, чего ей хочется. Может быть, поест, может быть, испить, а может быть, и просто по двору побродить, случалось это с нею с тех пор, как Петр Матвеич (молодые еще они тогда были) однажды ударил ее под пьяную руку по темени.

-- Как ударил он, это, меня по темю, -- рассказывала она всегдашней своей собеседнице, попадье, -- так с тех пор и нет у меня понятия. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется -- не разберу.

Уже смолоду она была рохлей, а с годами свойство это возросло в ней до геркулесовых столпов. День-деньской она слоняется то по дому, то по двору, то по деревне, там подберет, тут погрозит, и все как-то без толку, словно впросонье. Идет неведомо куда и так безнадежно смотрит, как будто говорит: да уйдите вы, распостылые, с моих глаз долой! Потом на минуту встрепенется и примется "настоящим манером" хозяйничать. Старосту назовет кровопивцем, повара -- вором, девку Маришку -- паскудою. Совершивши этот подвиг, опять притихнет, сядет у окна, расстегнет у блузы ворот и высматривает, не прошмыгнет ли через двор Маришка-поганка на кухню к подлецу Федьке.

-- И то бежит! бежит! -- вдруг восклицает она, стремительно вскакивая с места и с каким-то жадным любопытством приглядываясь, как Маришка с быстротою ящерицы скользит по двору, скользит, скользит и наконец проскальзывает в отворенную дверь кухни.

Или вдруг встревожится, отчего детей долго не видать, а они уж тут как тут. Одного ведут за ухо, потому что у петуха крыло камнем перешиб; другой сам бежит с расквашенным носом.

-- Смерти на вас нет! -- криком крикнет Арина Тимофеевна и тотчас же распорядится: одному даст щелчок в лоб, другому вихор надерет.

Такого рода хозяйственные и воспитательные распоряжения исчерпывали собой весь день. Затем, вечера Арина Тимофеевна проводила в обществе попадьи и жаловалась ей на судьбу.

-- Нет моей жизни каторжнее, -- говорила она, -- всем-то я припаси! всем-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то свари! все я! все я!

Попадья покачивала головой и бросала кругом суровые взгляды, как бы выражая ими неодобрение домашним, причиняющим столько тревоги Арине Тимофеевне.

-- Сколько старик один слопаёт, так это бог только видит! бог только видит! -- продолжала хозяйка, ударяя себя кулаком в грудь, -- словно у него не брюхо, а прорва! Так и кладет! так и кладет! Набегаются это день-деньской по углам-то, да пуще, да пуще!

-- Слыхала я, сударыня, насчет крестов, которые каждому человеку при рождении назначаются... -- вставляла свое слово попадья.

Но Арина Тимофеевна не слушала ее и продолжала:

-- И все-то мне тошно! все-то мне постыло! Вот хоть бы Маришка-поганка. Так хвостом и вертит, так и вертит! Каково мне это видеть-то!

Жалобы лились, как река, до тех пор, пока сам собою не истощался несложный репертуар их. Тогда Арина Тимофеевна просталась с попадьею, удалялась в спальню и приносила Маришке окончательную жалобу.

-- Измучилась я с вами, словно день-то кули ворочала. Теперь бы вот богу помолиться -- ан у меня и слов никаких на языке нет. А завтра опять вставай! опять на муку мученскую выходи!

Если б у Арины Тимофеевны спросили, любит ли она мужа, она наверное ответила бы: как не любить! ведь он муж! Если б спросили, любит ли она детей, она ответила бы: как не любить! ведь они дети!

-- Щемит мое сердце по ним! -- говорила она, -- так-то щемит! так-то ноет!

Но в чем именно проявлялось это материнское щемление сердца -- этого, конечно, не мог бы определить мудрейший из мудрецов. Иной раз щемит сердце оттого, что севрюжинки солененькой захотелось; иной раз оттого, что кваску хорошо бы испить; иной раз оттого, что вдруг об детях дума в голову западет.

-- Это у тебя все от праздности да от жиру! -- молвит ей в укор Петр Матвейч, когда она чересчур разохается.

-- Как же, с жиру! дети-то, чай, мои! -- огрызнется она. Потом на минуту смолкнет, и опять начнет у ней сердце щемить.

-- Вот, -- скажет, -- хорошо, кабы у нас дом полная чаша был!

-- Это еще что?

-- Да так... все, чего ни потребуй, все бы сейчас... яичка бы захотелось -- яичко бы на столе! Говядинки... супцу... все бы сейчас, в секунд!

-- Вот дуру-то бог послал!

-- По-твоему, я дура, а по-моему, ты дурак. Чем ругаться-то, лучше бы отца допросил, куда он миллион свой спрятал?

Среди фантазий, беспорядочно бродивших в голове Арины Тимофеевны, мысль о том, что у дедушки есть какой-то куш, который он неизвестно куда запрятал, в особенности угнетала ее. Она носилась с этой мыслью с утра до вечера, ложилась с нею спать и, наконец, даже бредила ею во сне. Начав с одной тысячи, воображение постепенно увеличивало и увеличивало возжеленную сумму и, наконец, остановилось на миллионном размере. Дальше Арина Тимофеевна не умела считать.

-- А ты верно знаешь, что миллион? -- спрашивал ее Петр Матвеич.
-- Как же не верно! Сколько лет жил! сколько грабил!

-- Ах, дура, дура!

-- Ты умен! Другие на таких местах поди какие капиталы наживают, а он, блаженный, все двугривенничками да пятиалтынничками, да и те деревенским девкам просорит!

Разговоры эти обыкновенно кончались тем, что Петр Матвеич выскакивал из-за стола и приказывал закладывать тарантас.

Что могло сделаться из детей в подобном семействе -- это понятно само собой. Уже в силу утвердившейся семейной номенклатуры, это были "пащенки", "выродки", "балбесы" -- и ничего больше. Росли они по-спартански, то есть кувыркались по двору, лазали по деревьям, разоряли птичьи гнезда, дразнили козла, науськивали собак на кошку и по временам даже воровали. С малых лет их головы

задумывались над тем, что хорошо бы в кучера или в рассыльные идти да иметь в руках нагайку ременную и хлестать ею направо и налево, "вот как папенька хлещет".

-- Какого им дьявола воспитания! -- говорила Арина Тимофеевна, - и так, балбесы, походя жуют!

-- Я их воспитаю... а-р-р-р-аппником! -- прибавлял с своей стороны Петр Матвейч.

На десятом году старшего сына, Максимку (он же и "палач"), засадили за грамоту. Призвали сельского попа, дали мальчугану в руки указку и положили перед ним азбуку с громаднейшими азами.

-- Ты его, отец Василий, дери! -- рекомендовал при этом Петр Матвейч, -- ведь он у нас идол!

И действительно, Максимка оправдывал это прозвище. Исподлобья смотрел он на классный стол, словно упирающийся бык, которого ведут под обух.

-- Ишь ведь как смотрит! чует, пащенок, чем пахнет! Я тебя... воспитаю!

И началась для Максимки та ежедневная мука, которая называется грамотою.

-- Аз-буки-веди, бря, вря, гря, дря, жря, -- мрачно твердил он по целым часам, ковыряя в носу и бесцельно озираясь по сторонам.

-- Ты в книгу-то нос уткни! по сторонам-то не глазей! -- внушал отец Василий.

Максимка с каким-то бесконечно-скорбным выражением в лице устремлял глаза в книгу, как будто говорил: вот вещь, постылее которой нет ничего на свете!

-- Я, отец Василий, в кучера хочу! -- вдруг произносил он.

-- Вот вырастешь -- может, и в пастухи определяют!

-- А по мне, хоть и в пастухи! у меня тогда большой-большой кнут будет!

-- Ладно. Это когда-то еще будет. А теперь тверди: лря, мря, нря... ну, что еще в носу нашел!

-- Лря, мря, нря, -- угрюмо повторял Максимка, -- а ежели я буду пастухом, зачем же мне грамота?

-- И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутом с пониманием хлещет.

-- Врете вы все. Вон Антипка, у него болона на лбу, а как он кнутом щелкает! Его все коровы знают.

По временам в "ученье" вмешивалась Арина Тимофеевна.

-- Каков у нас идол-то? -- спрашивала она, зайдя в классную комнату.

-- Башка! -- отвечивал обыкновенно отец Василий, глядя Максимку по голове.

-- Ну, и слава те господи! Может, хоть один с разумом выйдет!

В два года Максимка выучился читать и писать, грамматику до глагола и первые четыре правила арифметики. Это так ободрило Арину Тимофеевну, что она начала даже заявлять желания несколько прихотливые.

-- Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучил! -- говорила она отцу Василью.

-- Какому же, сударыня, языку?

-- А вот тому-то, что не говорит-то! ну, вот, что мертвый-то!

-- Латинскому? что ж... никак, я его еще помню?

Но Петр Матвейч прямо назвал эти затеи преувеличенными и объявил, что везет Максимку в "заведение". Будущий "палач", услышав об этом решении, даже повеселел.

-- Да ты, никак, балбес, обрадовался? -- укоризненно заметила ему Арина Тимофеевна.

-- Что ж дома-то! дома тиранят, и там будут тиранить! так лучше уж там! Я в кучера убегу.

Максимка был сдан в "заведение" и забыт. Через четыре года очередь "ученья" стояла уж за Федькой-разбойником, а там, гляди, попевал и Ванька-воряга.

-- Всех-то всему научи! всем-то всего припаси! -- жаловалась Арина Тимофеевна.

Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловых. Но чтобы сделать ее вполне ясною, необходимо сказать хоть несколько слов о другом представителе этой фамилии, о братце Софроне Матвейче.

Софрон Матвейч был младший брат и представлял совершенную противоположность Петру Матвейчу. Если в основании всех поступков последнего лежала необузданность темперамента, то в характере первого преобладающей чертой являлась сознательная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петр Матвейч буянил, дрался и шел напролом; Софрон Матвейч каверзничал, извивался и зудил. Петр Матвейч имел голос резкий, не уступавший протодиаконскому, и способный разбудить самую сонную окрестность; Софрон Матвейч говорил тихо, вкрадчиво, словно хныкал. Когда Петр Матвейч говорил: "Папенька! как почтительный сын убеждаю вас...", то исход его речи был неизвестен: может быть, разорвет папеньку на части, а может быть, плюнет и отойдет; когда же Софрон Матвейч начинал: "Позвольте мне, добрый друг, папенька...", то исход этой речи был известен заранее, ибо всякому было понятно, что "зуда когда-нибудь непременно вызудит старика". По внешнему виду Петр Матвейч был высок, коренаст и постоянно грозил испытать на себе действие паралича; напротив того, Софрон Матвейч походил фигурой на отца, то есть был мужчина среднего роста, юркий, сухой и несомненно живучий, ходил неслышными шагами, крадучись, и несколько пригибал голову, как будто уклонялся от угрожавшего ему откуда-то удара. Петр Матвейч относился к церкви легкомысленно и редко бывал у службы; напротив того, Софрон Матвейч был к церкви усерден, молился всегда на коленях и притом со слезами. В довершение всего, Петр Матвейч имел должность видную и блестящую, а иногда даже позволял себе мечтать о возможном преуспевании на поприще администрации; напротив того, Софрон Матвейч занимал не

блестящее, но солидное место уездного стряпчего, и никогда ни о каком преуспеянии не мечтал.

Несмотря на тихий, приниженный вид, все боялись Софрона Матвейча. При взгляде на его задумчивое и как-то сомнительно улыбающееся лицо, всякому сейчас же невольно приходило на мысль: вот человек, который наверно обдумывает какое-нибудь злодейство. С просителями Софрон Матвейч был вежлив необыкновенно, даже мужикам говорил не иначе, как "голубчик" и "дружок".

-- У тебя, дружок, дельце в суде? -- спрашивал он таким голосом, что у просителя непременно сердце екнуло в груди.

И затем, заручившись "дельцем", он начинал играть с ним. То дополняет, то запросцы делает, то просто скажет: а ну, не трог, маленько поокруглится!

-- Тебе чего, миленький? об дельце небось справиться пришел? Идет оно у нас, дружок, живым манером бежит! Подмазочки бы вот надо.

И, получивши подмазочку, кланялся, жал просителю руку и чувствительнейше благодарил.

Вообще, он облюбовывал и смаковал просителя, как артист, и потому не сразу обдирал его, а любил постепенно вызудить у него жизнь. Ежели читатель видал когда-нибудь, как ручная лисица поступает с подстреленной вороной, предназначенной ей на обед, то он может иметь приблизительное понятие о том, что происходило между Софроном Матвейчем и просителем. Лисица не набрасывается на свою жертву, не рвет ее на куски, а долгое время полегоньку то там, то тут покусывает. Куснет -- и отскочит в сторону, даже задумается, словно забудет. Потом опять изогнется и со всех ног кинется к вороне, но, не тронув ее, отпрянет назад. Даже ворона смотрит на эти маневры с изумлением, как будто говорит: Христос с тобой! ведь я было испугалась! Потом опять скачок, и опять, и опять, -- до тех пор, пока не вызудит у вороны жизнь. Тогда потихоньку оциплет и съест. Точно так поступал и Софрон Матвейч: он разорял полегоньку, со вздохами, с перемежками, но разорял дотла, до тех пор, пока последний грош не вызудит. Тогда уж съест окончательно.

В усадьбу Софрон Матвеич наезжал редко. Человек он был холостой и хозяйством не занимался. Но всякий раз, как приедет в Вавиловку, непременно кому-нибудь что-нибудь да прокусит.

-- Ты, Палаша, никак, опять с прибылью? -- обращался он к судомойке Палаше, которая, по своему девичеству, каждый год носила ребят, -- ах, дружок, как это грешно! знаешь, как бог-то за это наказывает? что блудницам в аду-то приуготовано? Ах, друг мой! друг мой! Ну, нечего делать, посадите ее, миленькие, в холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!

Скажет и сотворит при этом крестное знамение.

Старик-дедушка при одном упоминании о Софроне Матвеиче дрожал и изменялся в лице. Арина Тимофеевна тоже ненавидела его и уверяла, что Максимка весь в него уродился.

-- Телом-то в отца, а нравом в Софронку. Софронка меня в те поры испугал, как я тяжела была, ну и вышел Максимка в него.

Даже Петр Матвеич крестился и вздрагивал, когда Софрон Матвеич, по обыкновению своему, неслышно подкрадывался к нему.

Один "палач" *любил* дядю и говорил про него:

-- Вот дядя -- это человек! Этот не сробеет, даром что с виду тихеньким кажется!

"Палача" ждут дома без нетерпения; едва ли даже не позабыли, что за ним послано.

Да и не до него теперь. Весь дом в унынии; Арина Тимофеевна ходит из угла в угол как потерянная и вздыхает; разбойники дети благонаравно сидят по местам; дворовые суетятся; на дворе то впрягают, то распрягают лошадей; мужики нагружают у барского крыльца подводы. Один дедушка свеж и бодр и пуще прежнего шелкает, свистит и горланит какую-то нескладицу. Сам Петр Матвеич каждую ночь приезжает в Вавилово вместе с Софроном Матвеичем. Приехавши, оба брата о чем-то шушукуются, потом делают распоряжения, вследствие которых на другой день опять нагружаются подводы, а к утру обоих и след простыл.

Рассыльный говорил правду: в город одновременно наехали две комиссии, из которых одна занималась исследованием действий исправника, а другая выворачивала наизнанку уездный суд. И так как члены комиссии нуждались в пище и питии, то вавиловские запасы видимо истощались. И вдруг, в такую критическую минуту, когда дома каждая ложка супа, так сказать, на счету, наезжает откуда-то совсем забытый сын.

-- Вот уж правду-то говорят: гость не вовремя хуже татарина! -- встречает Арина Тимофеевна "палача".

-- Вы, маменька, только рот разинете, так уж и сморозите! -- отвечает "палач", целуя у матери руки.

-- Бесчувственный ты балбес! Слышал ли, по крайности, что с отцом-то делается?

-- Как не слышать! об нем по всей дороге, от самой Москвы в рога трубят!

"Палач" отворачивается от матери и идет в залу. Но там дедушка, подкравшись на цыпочках к двери, уже сторожит внука и в одно мгновение ока мажет его по губам какою-то дрянью.

-- Убью! -- пускает "палач" вдогонку старику, который, учинив проказу и подобрав халат, бежит во все лопатки в другие комнаты.

-- А папеньку-то судить будут! -- докладывает "палачу" Федька-разбойник.

-- И дяденьку тоже! -- присовокупляет Ванька-воряга.

-- Цыц, бесенята... жрать хочу! живо! -- командует "палач" и, в ожидании еды, направляет стопы в девичью.

Там стоит девка Маришка, нагнувшись к сундуку, наполненному полотнами, и отбирает из них те, которые потоньше.

-- Маришка! жрать... смерть моя! -- говорит он, придавая своему голосу почти мягкий оттенок.

-- Не до вас теперь, барин! видите, дело делаю! -- отвечает Маришка, и еще ниже нагибается к сундуку, чтобы не встретиться взорами с "палачом".

-- Ты, подлая, с Федькой связалась?

-- Еще с кем?

-- Тебе говорят: с Федькой! Да ты не верти хвостом, а гляди на меня!

-- Не образ!

-- Говорят, гляди!

Маришка, все еще нагнувшись к сундуку, неохотно поворачивает к нему голову и, взглянувши, восклицает:

-- Ах, да какие вы, барин, большие!

-- То-то большой! ты смей только!

-- Что сметь-то! сами-то, чай, давным-давно меня на какую-нибудь кузнечиху {Магазинная девушка с Кузнецкого моста, в Москве. В сороковых годах девицы эти не отличались особенной строгостью поведения. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)} сменяли!

-- Ну, там на кого бы ни сменял! То я, а то ты! Тебе и по закону так следует. Да брось ты полотна-то! гляди на меня!

Маришка выпрямляется и сконфуженно становится перед ним.

-- Что тут у вас делается? взбесились, что ли, даже поесть не допросишься?

-- Ах, барин, столько у нас здесь напастей! столько напастей! Целая орава папеньку-то судить наехала, и все-то жрут, все-то пьют! кажется, что только добра папенька нажили -- все туда, в эту прорву пойдет!

-- А ты... с Федькой?

"Палач" рычит, но рычит не опасно. Маришка понимает это.

-- Вы, барин, всегда... -- говорит она, -- и что только вам этот Федька поперек встал -- диковина!

-- Верти хвостом-то! Отец зол?

-- И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть под красную шапку не отдали.

"Палач" крутит зачаток уса и сурово произносит:

-- Ну, и черт с ним! я сам в солдаты уйду!

В эту минуту Арина Тимофеевна, как буря, влетает в девичью и расстраивает интересный tete-a-tete {}.

-- Вырос, батюшка! -- язвит она, -- ума не вынес, а не хуже стоялого жеребца ржет! Смотри, как бы Федька-подлец не приревновал!

-- Да и у вас, маменька, ума немного! -- огрызается "палач", -- вот покормить небось не догадаетесь!

-- Надоело! -- вдруг прибавляет он, зевая и потягиваясь, как будто и в самом деле он бог весть сколько времени толчется в этом доме, и все ему безмерно в нем опостылело.

В зале, на столе, "палача" ждут холодные объедки.

-- Ишь ведь! куска живого нет! -- озлобленно произносит он, жадно обгладывая кость, -- Федька! нельзя ли, братец, цопнуть! спроворь!

Федька устремляется со всех ног в пространство; минуты через три он возвращается назад, бережно неся что-то под полой халата.

-- Где бог послал? -- спрашивает "палач", принимая из рук брата пузырек с водкой.

-- У Михея кучера из полштофа вылил.

-- Ну, это, брат, не порядки. Кучер -- он человек дорожный, ему без водки нельзя. Ты бы по окнам у родительницы пошарил.

-- Смотрит... нельзя!

-- Смотрит! а ты так воруй, чтоб смотрела, да не видала. А на будущее время, чтоб не были вы без дела, вот вам урою каждый день мне чтобы косушка была.

Насытившись и в пропорцию выпивши, "палач" отправляется на конный двор и встречается там с фореитором Никешкою. разговор наедине.

-- Здорово, Никешка! -- кричит он ему.

Никешка вытягивается во фронт и на солдатский манер произносит:

-- Здравия желаю, ваше благородие-е-е!

-- В солдаты?

-- Точно так, ваше благородие-е-е!

-- И я в солдаты уйду! надоело!

-- Это точно, ваше благородие... прискучило!

-- Хорошо, Никешка, в солдатах! Встал утром... лошадь вычистил... ранец... Щи, каша... ходи! вытягивайся! Ну, да ведь солдат работы не боится!

-- Зачем, ваше благородие, работы бояться! Я теперича так себе сердце настроил, что заставь меня сейчас целому полку амуницию вычистить -- так вот сейчас и-и!

-- Солдат человек привышный! Солдат, ежели начальство прикажет: жги! рви! -- он и сожжет и разорвет, все как следует! Потому, он человек подначальный!

"Палач" входит в конюшню и осматривает стойла.

-- Трезорка жив? -- Точно так, ваше благородие!

-- И Полканка жив?

-- Жив, ваше благородие!

-- Как бы, братец, их на кошку науськать!

На зов Никешки, держа хвост по ветру, как бешеные, прискакивают два пса. "Палач" и Никешка становятся в углу конного двора и замирают в ожидании; псы, раскрыв пасти, нетерпеливо стоят около них, вертят хвостами и потихоньку взвизгивают. Наконец на заборе появляется кошка. Озираясь, крадется она по верхней перекладинке, поползет и остановится; потом почешет задней лапой за ухом, зевнет, оглянется, нет ли кого, и опять поползет. Наконец, не видя ниоткуда опасности, соскакивает на землю внутрь двора.

-- Ату! ату его! -- вдруг как безумные подхватывают "палач" и Никешка.

Псы летят; кошка сначала заминается, но через мгновение тоже летит, задеря хвост, к забору, цепляется когтями за столб, с быстротою молнии вспалзывает наверх, и как окаменелая становится там, оцетинившись и выгнувши спину. Псы стоят у подошвы забора и, не сводя с кошки глаз, виляют хвостами и жалобно взвизгивают.

-- Стиксовали, подлецы! -- гремит "палач", -- Никешка! учить их!

Начинается учение: собак дерут за уши, бьют чем попало; воздух наполняется тем особенным собачьим визгом, которому в целом мире звуков нет ничего подобного. На шум прибегают братишки и старый дедушка. Последний стоит в воротах, подобрыв полы халата, и сам, в каком-то ребяческом экстазе, визжит и лает.

-- Ты чего прибежал? -- обращается "палач" к старику, -- стары годы вспомнил?

-- Он так-то людей в стары годы собаками травил! -- вставляет свое слово Никешка.

-- Рви! -- огрызается дедушка и видимо сконфуженный удаляется восвояси, при общем грохоте веселящихся.

-- Маришку-то, ваше благородие, оставить надо! -- докладывает Никешка, когда гвалт унялся.

"Палач" злобно фыркает.

-- Она теперича у Федьки-повара и легла и встала! А я вам, ваше благородие, другую ягоду припас!.. такая-то ягода! вот так уж ягода!

-- Потрафляй, Никешка, потрафляй!

День кончился; "палач" окончательно вступил в свою домашнюю колею, то есть побывал и на конном, и на скотном, и на огороде. В десять часов вечера он ужинает вместе со всем семейством и на все вопросы матери угрюмо отмалчивается.

-- Да отвечай, идол, произвели ли тебя в классы-то? -- чуть ли не в десятый раз спрашивает его Арина Тимофеевна.

-- Завтра отцу все скажу! -- отвечает "палач", выходя из-за стола, и, ни с кем не простясь, удаляется в боковушку, где ему постлали постель.

Около полуночи он слышит впросонках звон колокольцев, стук подъезжающего экипажа, хлопанье ворот и дверей и, наконец, шаги отца в передней.

-- Балбес приехал? -- раздаётся голос Петра Матвеича.

"Ну, пошла пыльня в ход!" -- мысленно произносит "палач", переворачиваясь на другой бок.

Отцу, однако ж, не до Максимки. На другой день, часов в шесть утра, он уже собрался в город и только мимоходом успел взглянуть на сына.

-- Ну что, олух царя небесного, экзамена не выдержал? -- поздоровался он с ним.

-- Не выдержал-с.

-- Повесить тебя мало, ракалия!

-- Я, папенька, в юнкера желаю-с.

-- Сказал: сгною подлеца в заведении! и сгною!

-- Воля ваша-с.

Присутствовавший при этом Софрон Матвеич тоже счел долгом вступить в разговор.

-- Что ж ты, душенька, у папеньки-то ручки не целуешь? а-а-ах, милый друг! у родителя-то! да ты знаешь ли, миленький, как родителей-то утешать надобно?

-- Я, дяденька, в военную службу желаю-с!

-- И что это у вас, други милые, за болезнь такая: все в военную да в военную! все бы вам убивать! все бы убивать! А знаешь ли ты, голубчик, что штатский-то слово иногда пустит, так словом-то этим убьет вернее, чем из ружья! Вот она, гражданская-то часть, какова!

-- Что с ним, с оболтусом, разговаривать! -- прерывает Петр Матвеич медоточивую речь брата, -- вот уж свалим с рук губернскую саранчу -- я с тобой разделаюсь!

Дни идут за днями во всем их суровом однообразии, закаляя характер "палача". Он совсем не видит отца и, пользуясь этим обстоятельством, дает полный простор своим вкусам и наклонностям. С раннего утра он уже на конюшне, травит собаками кошку или козла, хлопает арапником, рассекает кнутом лубья, курит махорку, сплевывает в сторону и по временам устраивает, с целью грабежа, экспедиции на погреб, в кладовую и даже на крестьянские огороды.

-- Скучно у вас, Никешка! -- говорит он своему наперснику.

-- Супротив Москвы как же можно!

-- Я, брат, в Москве такие штуки удирал! такие удирал! с Голопятовым через забор в питейный бегали. Голопятова знаешь?

-- Нет, таких не слышали.

-- Амченина-то Голопятова не знаешь? Ведь он тут, поблизости, в Амченске живет!

-- Слыхали, что барин хороший, -- лжет Никешка.

-- Уж такой, брат, это человек! Мы с ним однажды Кубарихин дом вдвоем разнесли!

-- Ишь ты! да уж где нам супротив Москвы!

-- У вас даже питейного нет. Я со скуки хочу научиться табак нюхать.

-- И от табаку тоже большого способья нет. Тошнит от него спервоначалу. А мы, барин, вот что: давайте в церкву ходить, да на крылосе петь.

-- Чудесно. Вот это, брат, отлично ты вздумал!

"Палачу" так скучно, что он с жаром хватается за поданную Никешкой идею и немедленно приводит ее в исполнение. Он вербует в певчие младших братьев, дворовых и деревенских мальчишек, собирает их на задворках и производит спевки.

-- Эж, Голопятова нет! вот бы рявкнул! -- жалуется он. Мало-помалу, вместо лая и визга собак, воздух оглашается стихирами и прокимнами. Две недели кряду продолжается это новое столпотворение, и "палач" до того предается своей забаве, что делается почти неузнаваем. Только встанет утром -- уже бежит на спевку; пообедаст, напьется чаю на скорую руку -- и опять на спевку. Он похудел, сделался богомолен и богобоязнен, а мальчишек совсем смучил. По временам он даже помышляет, не пойти ли ему в монахи.

-- Жрут эти монахи... страсть! -- решает он, и тотчас сообщает о своем решении Никешке.

-- Что ж, в монахи так в монахи! я к вам служкой пойду! -- отвечает Никешка.

-- Заживем мы с тобой... лихо!

Однако и эта затея недолго гнездится в уме его, потому что Арина Тимофеевна, узнав стороной об его планах, считает долгом объяснить ему, что монахам не дают мяса.

-- Что лопать-то будешь? -- спрашивает она его.

"Палач" смущается, ибо совершенно определенно сознает, что без мяса ему жить невозможно.

-- Знаешь ли ты, балбес, как настоящие-то угодники живут? Одну просвирку на целую неделю запасет, голубчик, да и кушает! А в светло христово воскресенье яичко-то облупит, поцелует, да и опять на блюдо положит! А ведь тебе, олуху, мяса надо!

-- Врете вы все! не может человек без мяса жить!

-- Еще как живет-то! живет да еще работает! Ты спроси вот у мужичка, когда он мясо-то видит! И как только бог его поддерживает! все-то он без мяса! Ни у него говядинки! ни у него курочки! Ничего.

Арина Тимофеевна впадает в чувствительность. Она готова разглагольствовать на эту тему хоть целый день, готова даже погоревать и поплакать, но "палач" сразу осаживает ее.

-- Ну, распустили нюни! -восклицает он и, не дожидаясь дальнейших разглагольствований, уходит из дома.

Как ни огорчительно открытие, сделанное Ариной Тимофеевной, но оно западает в душу "палача" и производит перелом в его образе мыслей.

-- Ну их к шуту! -- говорит он Никешке, -- мать говорит, что монахам мяса не дают!

-- Что ж, можно и оставить!

Идея о монашестве предается забвению, спевки прекращаются, и на место их лай и визг собак опять вступают в права свои.

Среди этого содома Арина Тимофеевна ходит как потерянная и без переминок вздыхает.

-- Но отчего он такой кровопивец? -- думается ей, -- нет чтобы книжку почитать или в уголку тихонько посидеть, как другие дети! Все бы ему разорвать да перервать, да разбить да проломить!"

Бродит Арина Тимофеевна по комнатам и все думает, все думает. А на дворе гвалт, гиканье, свист, рев.

-- Лаской, что ли, с ним как-нибудь! -- наконец додумывается она и немедленно решается воспользоваться этой мыслью.

-- Хоть бы ты, Макся, поговорил с матерью-то! -- обращается она к сыну.

-- Об чем мне с вами говорить!

-- Ну все же, хоть бы утешил!

-- Горе, что ли, у вас?

-- Как не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! нет моему горю скончанья! вот хоть бы об вас, об деточках... ну, щемит у меня сердце, щемит, да и вся недолга!

-- Ну, и пущай щемит!

-- Или вот теперича кровопивцы из губернии налетели! что они пропили! что проели! Что было добра нажито -- все повытаскали!

-- И опять это дело не мое.

-- Как же не твое, Макся... Ты хоть бы пожалел, мой друг!

-- Меня, маменька, не разжалобите!

Арина Тимофеевна на минуту умолкает, видимо обиженная равнодушием сына.

-- И что это за народ такой нынче растет... бесчувственный! -- наконец произносит она, поглядывая в окошко.

-- Вы, маменька, про чувства не говорите со мною. Я даже когда меня дерут -- и то стараюсь не чувствовать. У нас урядник Купцов, прямо скажу, шкуру с живого спускает, так если бы тут еще чувствовать...

"Палач" постепенно одушевляется; он ощущает твердую почву под ногами.

-- Один раз, -- говорит он, -- я товарища искалечил, так меня сам инспектор бил. Бьет это, с маху, словно у него бревно под руками, бьет, да тоже вот, как вы, приговаривает: бесчувственный! Так я ему прямо так-таки в лицо и сказал: ежели, говорю, Василий Ипатыч, так бьют, да еще чувствовать...

"Палач" от волнения задыхается, словно пойманная крыса; лицо его вспыхивает, ноздри раздуваются, и сам он от времени до времени вздрагивает.

-- Меня вот товарищи словно волка травят, -- продолжает он, -- соберутся всей ватагой, да и травят. Так если б я чувствовал, что бы я должен был с ними сделать?

Он смотрит на мать в упор; глаза его сверкают таким диким блеском, что Арина Тимофеевна, не понявшая ни одного слова из всего, что говорил сын, пугается.

-- Да ты обалдел, что ли, как на мать-то смотришь! -- начинает она, но "палач" уже ничего не слышит.

-- Теперича, к примеру, я хочу в юнкера поступить, -- гремит он, -- так ежели начальство мне скажет: "Хмылов! разорви!" -- как, по-

вашему? Я и в то время должен какие-нибудь чувства иметь?
Извините-с!

"Палач" быстро поворачивается, и через минуту сугубый гвалт возвещает о благополучном прибытии его на конный двор.

Арина Тимофеевна опять задумывается, или, лучше сказать, в голову ее опять начинают заглядывать какие-то обрывки мыслей, которые она тщетно старается съютить. То вдруг заглянет слово "убьет!", то вдруг мелькнет: "Это он с матерью-то! с матерью-то так разговаривает!" Наконец она вскакивает с места и раздражается.

-- Желала бы я! -- восклицает она иронически, -- ну, вот хоть бы глазком посмотрела бы, что из этого ирода выйдет!

Но вот и губернская саранча уехала восвояси; Петр Матвеич свободен и приезжает в Вавиловку отдохнуть.

-- Теперь я с тобой, мерзавец, разделаюсь! -- говорит он сыну, располагаясь в кресле с таким спокойным видом, как будто собрался приятно провести время.

-- Вся ваша воля-с.

-- Сказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?

-- Я, папенька, в полк желаю-с.

-- Будешь ли учиться?

-- Я, папенька, ежели вы меня в полк не отдадите, убегу-с!

-- К-к-кан-налллья!

Петр Матвеич вытягивается во весь рост, простирает руки, и до такой степени таращит глаза, что кажется, вот-вот они выскочат. "Палач" закусывает губу и ждет.

-- Нагаек! -- кричит Петр Матвеич задавленным голосом.

Экзекуция начинается: удар сыплется за ударом. Петр Матвеич бледен; в глазах его блуждает огонь, горло пересохло, губы горят.

-- Убью! в гроб заколочу! -- уже не кричит, а шипит он тем же задавленным голосом.

"Палач" словно замер: ни стоны, ни звука.

-- Убить, что ли, сына-то хочешь! -- вдруг раздаётся испуганный голос Арины Тимофеевны.

Она бледна и дрожит. Как кошка, вцепляется она в полы мужнина сюртука и силится его оттащить.

-- Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьет... ах, убьет!

Петра Матвеича с трудом оттаскивают. Он шатается словно пьяный и смотрит на всех потухшими глазами, как будто не сознает, где он и что тут случилось. "Палач" страдает, но, видно, перемогает себя. Он встряхивает волосами, на губах его блуждает вызывающая и вместе с тем исполненная инстинктивного страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могут выдерживать долее. Не проходит минуты, как лицо его начинает искажаться, искажаться, и, наконец, какое-то ужасное рычание вылетает из его груди, рычание, сопровождаемое целым ливнем слез.

-- Плачь, батюшка, плачь! -- увещевает его Арина Тимофеевна, -- плачь! легче будет!

Но он ничего не слышит и стремглав убегает из комнаты.

Сцена сечения произвела на весь дом подавляющее действие. Все как будто опомнились и в то же время были до того поражены, что боялись словом или даже неосторожным движением напомнить о происшедшем. Прислуга ходит на цыпочках, словно чувствует за собою вину; Арина Тимофеевна потихоньку плачет, но, заслышав шаги мужа, поспешно утирает слезы и старается казаться веселой; дедушка мелькает там и сям, но бесшумно и испуганно, как будто тоже понимает, что теперь не то время, чтобы озоровать; младшие дети сидят смирно и рассматривают книжку с картинками. В самом Петре Матвеиче заметна перемена: он похудел, осунулся, мало ест и совсем не пьет. "Палач" примечает это общее уныние и всячески старается эксплуатировать его в свою пользу. Он целые дни где-то

скрывается; приходит домой только обедать, молча ест, выбирая самые лучшие куски, после обеда целует у родителей ручки, и тотчас же опять уходит вплоть до ужина.

-- Здоров? -- как-то не удержался однажды спросить его Петр Матвеич.

-- Слава богу-с; гной теперича в ранах показался-с, -- ответил "палач", но с такою язвительною почтительностью, что Петр Матвеич весь вспыхнул и чуть было опять не потребовал нагаек.

На самом же деле "палач" уже почти позабыл об экзекуции и проводит время на обычной арене своих подвигов, то есть на конном дворе. Но он сделался как-то солиднее в своих поступках, не бурлит, не хлопает арапником, не дразнит козла, а или заваливается спать на сеновал, или беседует с кучерами. Станет где-нибудь в углу, курит махорку, сплевывает и ведет разумную речь о коренниках, об иноходцах, о том, какие должны быть у "настоящей" лошади копыта, какой зад и т. д.

-- У "настоящей" лошади зад должен быть широкий... как печка! потому у "ей" вся сила в заду! -- утвердительно говорит "палач".

-- Нет, вот я у одного троечника коренника знал, так у того был зад... страсть! -- рассказывает кучер Михей, -- это под гору полтора пуда спустить -- нипочем!

-- По "саше"? -- вопрошает "палач", подделываясь под тон своей аудитории.

-- По саше и по простой дороге -- как хошь! И сколько раз у него эту лошадь торговали, тысячи давали...

-- Не продал?

-- Ни в жисть! "Дай ты мне сто пудов золота, говорит, умру, а лошади не отдам!"

-- И что за житее, ваше благородие, этим извозчикам -- умирать не надо! -- вступается Никешка.

-- На что лучше! -- восклицает Михей, -- еда одна что стоит! Щи подадут -- не продуешь! Иному барину в праздник таких не есть!

"Палач" задумывается и полегоньку посасывает трубочку. Воображение его играет; он видит перед собой большую дорогу, коренника, переступающего с ноги на ногу и упирающегося широким задом в громадный воз; офицеров, скачущих мимо; постоялый двор, и на столе щи, подернутые толстым слоем растопившегося свиного сала...

-- Папушник с медом есть будете? -- слышится ему словно вприсонках.

-- Вы бы вот что, ваше благородие, -- прерывает его мечты Никешка, -- поклонились бы вы папеньке-то: наградите, мол, папенька, меня тройкой лошадей... А я бы вам, ваше благородие, в работниках послужил!

-- Что ж, Никешка -- парень ловкий! Он это дело управит! -- подтверждает Михей.

-- А уж какую бы мы тройку подобрали -- на удивление! -- продолжает Никешка, -- ну, просто, то есть, и в гору и под гору -- как хошь!

-- А ты это видел? -- осаживает его "палач", снимая куртку и показывая спину, усеянную подживающими рубцами, -- так вот ты пойдя да и поклонись папеньке-то, а он тебе еще вдвое засыплет!

Или:

-- Кучер, коли ежели он настоящий ездок, непременно должен особенное такое "слово" знать! -- повествует Михей.

-- Да, без этого нельзя! -- подтверждает и "палач".

-- Теперича, ежели ты в грязи завяз или в гору встал -- только скажи это самое "слово", -- хоть из какой хошь труппы тебя лошадь вывезет! а не скажешь "слова" -- хоть до завтра бейся, на вершок не подвинешься!

И т. д. и т. д.

Одним словом, "палач" благодует и, зная, что отцу до поры до времени совестно смотреть ему в глаза, пользуется своим положением самой широкой рукой.

Иногда, наскучивши анекдотами о коренниках, о том, как однажды Никешка на ровном месте пять часов бился, "хочь ты что хошь", о том, как один ямщик в одну пряжку сто верст сделал и только на половине дороги лошадей попоил, -- "палач" отправляется к дяденьке Софрону Матвейчу, который тоже отдыхал в Вавиловке после ревизорского погрома, и слушает рассказы этого нового Одиссея.

-- Я, дяденька, в полк уйду! -- обыкновенно начинает "палач".

-- И что ты это заладил одно: в полк да в полк! На войну хочешь? так на войне-то, брат, бабушка еще надвое сказала: либо ты убьешь, либо тебя убьют!

И затем начинался бесконечный ряд рассказов о преимуществах гражданской службы.

-- Гражданская-то служба разве не то же стражение? -- повествует дяденька, -- только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части один стражается, а другой претерпевает стражение. И сколько я этих гражданских стражений в своей жизни выиграл, так ежели бы все счастье, кажется, и фельдмаршалом-то меня сделать мало!

"Палач" оглядывает мизерную, словно объединенную фигуру Дяденьки и улыбается.

-- А ты не гляди, миленький, что я ростом не вышел; я, душа моя, такие дела делывал, что другому даже в генеральских чинах во сне не приснится.

Дяденька выпрямляется во весь рост и, тыкая себя перстом в грудь, продолжает:

-- Я только говорить о себе не люблю, а многим, даже очень многим в жизни своей такие права предоставил, что ежели они после того рук на себя не наложили, так именно только по христианству, как христианский закон вообще запрещает роптать! Насекина, например, Павла Ивановича знаешь?

-- Это пьяненького-то?

-- Это теперь он пьяненький, а прежде был он у нас предводителем, туз козырный был! Гордый человек был, тиранил, жег, сек. Дворянин ли, мужик ли -- все, говорит, передо мной равны! Вот он каков, "пьяненький"-то, в старые годы был! А кто гордыню-то эту из него извлек? Я, Софрон Матвеев Хмылов, ее извлек! Походил около него, распланировал все как следует, потом дал стражение -- и извлек!

-- Да я, дяденька, помилуйте...

-- погоди, мой друг, дай сказать! Или возьмем теперича хоть палагинское дело. Убили рабы своего господина, именем его воспользовались -- одними деньгами, душа моя, сто тысяч было! -- бежали, пойманы, уличены! По-твоему, как надлежит в этом случае поступить? Отдуть душегубов кнутом, сослать куда Макар телят не гонял -- и дело с концом? Ну, нет, не будет ли этак-то очень уж просто! С именем-то, скажи ты мне, как поступить? Да опять же и где это имение взять? Потому эти самые душегубы во всем прочем чистосердечно повинились, а насчет имения такую аллегория, такую аллегория поют, что и боже ты мой! Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать, придется стражение вам дать. И как бы ты полагал? -- не успел я это стражение до половины довести, как они уж все до полушки отдали!

-- Да ведь я, дяденька, не об вас. Вы, известно...

-- Нет, да ты слушай, что потом будет! Отдавши, это, все до полушки, сидят они в остроге год, сидят другой -- и вдруг возгордились! Мы-ста! да вы-ста! из нас, говорят, жилы вытянули, а резону нам не дают! И даже очень громко этак-то побалтывают. Что ж, делать нечего, пришлось и в другой раз стражение дать... только уж после этого другого-то стражения...

Софрон Матвеевч внезапно останавливается и вместо продолжения прерванного рассказа присовокупляет:

-- Так вот они каковы, гражданские-то стражения! Коли ежели да с умением, да с сноровочкой -- большую можно пользу для себя получить!

"Палач" смотрит на дядю с благоговением, почти с алчностью. Глаза его так и бегают.

-- Я десять губернаторов претерпел! -- продолжает Софрон, Матвеич хныкающим голосом, -- я пятнадцати ревизорам очки, вставил! И всякой-то на меня с наскоку наезжал: "Я, дескать, этого разбойника Хмылова в бараний рог согну!" АН дашь ему стражение -- он и притих! Статский советник Ноздрев у нас был, так тот, как приехал в город, так и рычит: подайте мне его! разорву! Каково мне это слушать-то? каково? Однако я выслушал, доложил, опять выслушал, опять доложил -- и стал он у меня после того шелковый... Даже поноску носить выучился, и так, это, привык, что в глаза, бывало, мне смотрит, когда же, мол, ты скажешь: пиль!

-- Да ведь то вы, дяденька! вы, дяденька, умный!

-- Не то чтобы слишком умен, а человеческое сердце, душа моя, знаю. Другой смотрит на человека, и ничего в нем не видит, а я проникаю. Я даже когда не нужно -- и тогда проникаю. Идешь это по улице, видишь человека и все думаешь: а кто знает, может быть, этому человеку со временем придется стражение дать!

Но как ни привлекательны рисуемые дядей картины гражданских сражений, "палач" не поддается соблазну. Он понимает, что ему тут делать нечего. В нем, если хотите, имеется достаточный запас той одервенелой жестокости, которая на самые большие мучения позволяет смотреть хладнокровно, но нет ни настойчивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни к каким комбинациям он неспособен, и потому даже в шашки порядком не мог научиться играть.

-- Нет, дяденька, -- говорит он, -- я уж в полк!

-- Что ж, в полк так в полк! Коли нет призвания, так и соваться нечего. Л ведь и я, душа моя, не сразу тоже в чувство пришел. С мужика с простого начал, а потом, постепенно, и губернаторов постиг. Бывало, папенька приведет мужика-то и скажет: "Софрон, учись!" Ну, и начнешь его узнавать. Ходишь около него, всякий суставчик попытаешь, все ищешь, где у него струна-то играет. Нашел струну -- и ликуй, потому тут он уж и сам перед собой, словно клубок, развертываться начнет. Ты только дергай, дергай его за

нитку-то, а он, что больше дергаешь, то ходчей да ходчей все развертывается. И такой вдруг понятный делается, что даже вчуже удивительно, как это сразу ты его не постиг!

И живет таким родом "палач" под сенью родительского крова, живет изо дня в день и не видит исхода своему страстному желанию оставить науку и поступить в полк. Эта мысль преследует его день и ночь. Ни рассказы дяди, ни беседы на конном дворе не могут заставить ее позабыть. Вот и каникулы подходят к концу, а он все при том же, при чем был и в начале своего приезда в деревню.

Порой он решается бежать, но куда? с чем? При всей неразвитости, он понимает непрактичность этой мысли, и потому не без удовольствия ожидает момента, когда его опять повезут в Москву, и опять очутится он в стенах "заведения". Там он, по крайней мере, увидится с "Агашкой", а это свидание возбуждает в нем какие-то смутные надежды. Что будет? -- он сам еще не может определить, но что нечто, наверное, будет -- в этом он не сомневается.

-- Голопятов выручит! -- говорит он себе и с этою сладкою мыслью засыпает в последний раз под кровлей скромного вавилонского дома.

И действительно, "Агашка" -- первое лицо, с которым "палач" встречается в "заведении".

-- Хмылов! меня опекун в полк отдает! -- объявляет он сразу.

"Палач" бледнеет.

-- Так это... верно? -- спрашивает он потухшим голосом.

-- Через месяц, как дважды два. А ты как?

"Палач", вместо ответа, снимает с себя куртку и показывает следы рубцов, оставшиеся на спине.

-- Это... за полк! -- говорит он. "Агашка" вдруг проникается великодушием.

-- Уйдем вместе! -- говорит он, -- вместе горе тяпали, вместе и уйдем!

-- Да ведь ты... сам собою... и без того... -- заикается "палач".

-- Не хочу просто выходить... уйду! Или вот что: удерем, Хмылов, какую-нибудь такую штуку, чтоб нас обоих разом выгнали!

"Палач" с какою-то робкою радостью смотрит на своего друга.

-- Да ты что, подлец? не веришь мне? -- великодушествоует "Агашка", -- да я теперь ни за что без тебя из заведения не уйду!

Друзья целуются и заключают наступательный союз. Начинается целый ряд подвигов, слава которых, постепенно возрастая, наполняет наконец Москву. Родители с недоумением вопрошают друг друга, правда ли, что какие-то ученики "заведения" взяты будочником в кабаке; правда ли, что еще какие-то ученики того же "заведения" пойманы в ту минуту, как хотели взломать церковную кружку; правда ли, что еще какие-то ученики забрались ночью в квартиру женатого надзирателя Сен-Романа... В течение двух-трех недель "палач" и "Агашка" вдвоем совершили столько, что, казалось, будто в их подвигах участвовало не меньше ста человек.

Через месяц оба друга сидят уже в карцере; еще неделя -- и за обоими приехали посланные от родных.

Друзья веселы и всецело поглощены ощущением испытываемого ими счастья. Они бодро проходят через рекреационную залу, мимо столпившихся товарищей, которые на этот раз даже не пускают вдогонку Хмылову "палача". Смутный говор удивления провожает их до самой швейцарской.

Вот они на пороге, вот уже и стены заведения остаются позади их. "Палач" останавливается и в каком-то неопisanном волнении сжимает руку "Агашки".

-- Не про-па-дем! -- восторженно восклицает он, отчетливо разделяя каждый слог своей краткой речи.

-- Не пропадем! -- словно эхо, повторяет за ним "Агашка".